

С.И. Кормилов

**СВОЕОБРАЗИЕ
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ПРОБЛЕМА ЕЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ**

Статья посвящена проблемам русской литературы, ее национальной специфике. В работе охвачен тысячелетний период развития русской литературы. Выявляется национальное своеобразие в сфере как ценностного наполнения, так и ее образного состава.

Кормилов

Сергей Иванович — докт. филол. наук, профессор кафедры русской литературы XX века Московского государственного университета

Национальное своеобразие литературы и ее национальная идентичность — не одно и то же хотя бы потому, что своеобразие литературы зависит не только от национальных культурных процессов, начинает формироваться раньше, чем складываются нации. Например, в «Слове о полку Игореве» содержатся яркие черты национального своеобразия русской литературы, рассматриваемой как тысячелетняя, хотя появился этот памятник до возникновения не только русской нации, но и великорусской народности, до разделения древнерусской народности на великорусскую, украинскую и белорусскую. Тем более не сразу национальная идентичность литературы осознается теоретически. «Представление о национальном художественном мире, — пишет Н.Л. Лейдерман, — вызревает на определенной фазе развития художественного сознания, это нечто аналогичное фазе возникновения национального литературного языка. Вероятно, рождение национального художественного мира и есть свидетельство зарождения национальной литературной классики» [Лейдерман, 2006].

Для средневекового русского, как известно, «басурман» — не иностранец, а иноверец. Д.С. Лихачев в «Поэтике древнерусской литературы» писал об отсутствии у тогдашней письменной словесности Руси национально-государственных границ: ее воспринимали как свою во всей православной Восточной Европе (это относится даже к романоязычным румынам), а сама она воспринимала с Запада сюжеты, имевшие иногда восточное происхождение вплоть до ин-

дийского («Стефанит и Ихниллат»). В новое время вполне разделились и восточнославянские литературы, но по-прежнему для их национальной идентичности неважно этническое происхождение авторов: А.А. Фет по крови был чистый немец, Б.Л. Пастернак — еврей (считавший, что евреи должны ассимилироваться среди народов, на территорию которых забросила их судьба), Б.Ш. Окуджава — полугрузин-полуармянин. Пушкин, национальная гордость России, не забывал об африканском происхождении своего прадеда. Вообще у подавляющего большинства наших классиков хотя бы в далеком прошлом были нерусские предки [Карнович, 1886], что на их творчестве (кроме Пушкина и Лермонтова) чаще всего не отражалось даже тематически.

Конечно, важнейший признак национальной литературы, особенно в новое время, — национальный язык. Но это признак далеко не достаточный, да не всегда и первый. Если немцы нередко считают австрийскую литературу частью немецкой, то никому в голову не придет включать в английскую литературу американскую или австралийскую. Теряет ли национальная литература свою идентичность при переводе (не переложении!) на иностранный язык? Она отчасти становится фактом иностранной литературы, отчасти утрачивает национальное своеобразие, но национальную идентичность хотя бы в общих чертах сохраняет.

Свойства русского языка чрезвычайно значимы для создаваемой на нем словесности. Ведь русские (по происхождению и по культуре) думают по-русски.

У русского языка есть недостатки. Средняя длина русского слова превышает среднюю длину английского более чем вдвое. Собственно русский словарный запас увеличивается медленно. Широко открытый разным инонациональным и социокультурным влияниям, русский язык в петровское и послепетровское время развивался за счет механистически заимствовавшихся варваризмов, в советскую эпоху был опрIMITивнен, в постсоветскую вновь уродуется многочисленными варваризмами. Противоречивы русская фонетика и орфография. «Русская фонетика основана на игре резких противопоставлений: противопоставления ударяемых гласных безударным и противопоставления мягких согласных твердым, — писал Н.С. Трубецкой в работе «К проблеме русского самопознания» (глава «Общеславянский элемент в русской культуре»). — Из этих двух фундаментальных противопоставлений первое на письме не выражается вовсе, а второе — лишь очень неполно, а порою и прямо неточно: напр <имер>, отличие между *томный* и *темный* для языкового такта состоит в качестве согласных (*ть:ть*), а на письме выражается качеством гласных (*о:е*)» [Трубецкой, 1995]. Но велики и достоинства русского языка, отражающие как богатейшую географию и историю России, так и устойчивость многих ее

традиций. Русское правописание в противоположность французскому и особенно английскому в основном передает звучание, сохраняя при этом корневую систему (в отличие от чисто фонетического белорусского). Правда, в орфографии французского и английского языков больше порядка другого рода — порядка традиции. До падения редуцированных порядка было гораздо больше и в древнерусском (закон открытого слога); его следы сохранялись до орфографической реформы 1918 г., имевшей в известной мере революционный характер, хотя готовилась она филологами до революции (А.А. Блок и многие эмигранты ее не принимали: у нас даже орфография превращается в политику). В русском языке огромное количество относительных синонимов, передающих оттенки значений и отношение к ним говорящего. Там, где в английском и французском только *blue, bleau*, у нас и синий, и голубой, и синеватый, и лазурный и т.д. Английскому *come* соответствует чуть ли не бесконечное количество русских глаголов движения, в том числе с противоположными оценочными значениями (от «входите, пожалуйста!» до «пошел ты!»). Огромная область русских слов и выражений не поддается сколько-нибудь точному переводу из-за широчайшей ассоциативной ауры. Гоголевское «Не по чину берешь!» — это не просто «Ты берешь слишком много взяток для человека в твоём чине» (такой перевод уничтожает даже пресловутую краткость некоторых других языков), тут ведь и уверенность говорящего в «чине» как порядке, чуть ли не законе согласно его пониманию. Непередаваемы в переводах и фонетические совпадения, влияющие на смысл, — не только пушкинское «очей очарованье» (в переводах вместо поэтического очарования — бессмысленное «колдовство для глаз»), но и строки гораздо менее значительного, хотя и талантливого, современного поэта Константина Васильева (1955–2001) «Зачем душа, которую давно / по доброте душевной придушили?!» («Наивный сонет»). В большинстве литератур наиболее значительных стран используется или предпочитается одна система стихосложения, если не считать универсального верлибра. Русский литературный стих возник поздно, но успел через «досиллабическую» и силлабическую стадии быстро прийти к ритмически гибкой силлабо-тонике, остающейся основной системой по сию пору и ныне допускающей разнообразнейшие отступления, не исключая и разных видов тонического стиха, особенно дольника.

Однако и русский язык — не вопреки, а благодаря его богатству и гибкости — не является единственным гарантом национальной идентичности русской литературы. В Советском Союзе, особенно с 1960-х гг., развивалась весьма многослойная русскоязычная литература, сохранявшая национальное мировидение нерусских писателей. Если Б. Окуджава был чисто русским, московским, «арбатским» поэтом и прозаиком, если молдаванин И. Друзэ или азербайджанец

Р. Ибрагимбеков могли быть *также и* русскими писателями (а намного раньше И. Бабель, по сути, *одновременно* был и русским, и еврейским писателем, хотя к идиш не прибегал), если В. Быков и А. Адамович по культуре были в равной степени белорусами и русскими, то Ч. Айтматов и в русскоязычных произведениях остается прежде всего киргизом. В «Буранном полустанке» он дал убедительные образы казахов, но киргизы и казахи — ближайшие родственники. Правда, после бесед с В. Санги, представителем северосахалинского малочисленного народа нивхов (пишет он только по-русски, как и чукотский — по происхождению и по существу — писатель Ю. Рытхэу), Айтматов создал замечательную повесть «Пегий пес, бегущий краем моря». Южанин сумел освоить северный материал. Этому помогли сходные, даже единые черты родового, мифологического мышления на разных широтах. А вот образ русского, православного человека Авдия Калистратова в «Плахе» Айтматову явно не удался, как не удался и отвлеченно-общечеловеческий образ Иисуса Христа, а в «Буранном полустанке» — образы-схемы космонавтов, формально отнесенных к американской и русской нациям.

И.А. Есаулов считает главным признаком русской национальной идентичности вероисповедание, а именно православную конфессию. В первой своей большой книге [Есаулов, 1995] он делал акцент на категории «соборность» и на важнейшем различии между католической и православной картинами мира: в последней отсутствует представление о чистилище, «переходном» обиталище души после смерти между адом и раем, которое делает мир не однозначно полярным, не противопоставляет так резко, как в православии, грех и праведность. Россию называли страной крайностей многие, например Георг Брандес в книге «Русские впечатления» (1888) или Н.А. Бердяев в «Русской идее» (1946). Только источник этого датскому ученому виделся вовсе не в православии (которое было выбрано князем Владимиром не по идеологическим и тем более, как гласит предание, эстетическим причинам, а по политическим, ради союза с Византией, до которой от Киева добираться было ближе и удобнее, чем до Рима). Брандес был позитивистом, как О. Конт с его триадой «раса, среда, момент», причем предпочитал природную мотивировку: «В южной стране, такой как Италия, круглый год зеленеют растения. Всегда покрыты листвою лавр и оливковое дерево. Между тем Россия зимой и летом — это два разных мира и образа жизни» [Брандес, 2002, с. 44]. Коллективизм же русских, то, что называют «соборностью», Брандес объяснял тяжелыми условиями существования, в том числе историческими. В них «невозможно чувство: “Мой дом — моя крепость” <...>. Это было бы просто нелепо. Не только неразумно, но и невозможно жить обособленно, каждая семья за себя, каждый дом — за себя. Постоянно требуется помощь соседей (по

А.И. Солженицыну, последней бескорыстной помощницей в Советском Союзе была праведница Матрена. — С.К.) в борьбе против татар, диких зверей, в рубке леса, в распахивании земель. Речь идет здесь прежде всего о том, чтобы не умереть с голоду, чтобы защитить себя и своих близких. Хлеба купить негде, и нужны совместные усилия, чтобы дорога в крепость оставалась проезжей» [Брандес, 2002, с. 52].

Что же касается чистилища, то учение о нем Фома Аквинский разработал в XIII в., художественно расписал его Данте в начале XIV, догмат о нем был принят Флорентийским собором в 1439 и подтвержден Тридентским собором в 1562 г., а восточная и западная христианские церкви окончательно разошлись еще в 1054 г., значительные же различия между восточнославянской и западноевропейской культурами существовали изначально. Отрицает чистилище не только православие, но и протестантизм, явление сугубо западное. Культура Германии в общем едина, хотя на ее севере исповедуют протестантизм, а на юге — католичество (и, кстати, диалектные различия очень велики). Религия грузин — православие, но их культура отличается от культуры русских, безусловно, больше, чем отличается от последней культура западных украинцев, испытавших сильное влияние католичества. Кстати, в своей новой книге И.А. Есаулов всех украинцев и белорусов по принципу, выдвигаемому теперь как ключевой, сближает не с русскими, а с западными европейцами [Есаулов, 2004, с. 30]: в их варианте христианства «акцентируется не смерть и последующее Воскресение Христа, а сам Его приход в мир, рождение Христа, дающее надежду на преобразование и здешнего земного мира <...>, тогда как пасхальное спасение прямо указывает на *небесное* воздаяние. <...> Пасхальный архетип русской словесности проявляет себя главенством сверхзаконной небесной Благодати над земным Законом; иконичности над иллюзионизмом <...>; святости как ориентира жизни над “нормой” <...>» [там же, с. 21–22]. Действительно, уже первое сохранившееся произведение древнерусской литературы — «Слово о Законе и Благодати» (ок. 1049 г.) Илариона — противопоставляет то и другое, воплощенное соответственно в Ветхом и Новом заветах, в пользу второго (и до сих пор в массовом российском сознании неважно, какой закон, какой *порядок*, — «был бы человек хороший», царь ли он, президент или иной начальник), однако это имело не только собственно религиозную, но и политическую причину: Закон Моисеев (иудаизм) исповедовал опасный мощный сосед Киевского государства — Хазарский каганат [Кожин, 1991, с. 104–125]. А в комедии «Горячее сердце» (1868) такого глубоко национального драматурга, как А.Н. Островский, городничий (в дореформенной России — начальник городской полиции, обязанный ловить правонарушителей, но отнюдь не судить их) Градобоев говорит горожанам с крыльца своего дома: «До бога высоко, а до царя далёко. <...> я у вас близко, значит, я вам и судья.

Голоса. Так, ваше высокоблагородие! Верно, Серапион Мардарьич.

Градобоев. Как же мне вас судить теперь? Ежели судить вас по законам...

1-й голос. Нет, уж за что же, Серапион Мардарьич! <...>

Градобоев. Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне вас по законам, или по душе, как мне бог на сердце положит? <...>

Голоса. Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич.

При этом ни городничий, ни «подсудимые» к православию не апеллируют, раз «до бога высоко».

Вспомним, что в «Преступлении и наказании» Достоевского Николка хотел повеситься, так как боялся, что его *засудят* (это — при отсутствии в Российской империи смертной казни за уголовные преступления!). А у Островского же в пореформенной комедии «Лес» (1870) прекраснодушный помещик Милонов сетует: «Как жаль, что мы удалились от первобытной простоты, что наши отеческие отношения и отеческие меры в применении к нашим меньшим братьям прекратились! Строгость в обращении и любовь в душе — как это гармонически изящно! Теперь между нами явился закон, явилась и холодность; прежде, говорят, был произвол, но зато была теплота. Зачем много законов? Зачем определять отношения?» То есть ставить *пределы*: русская душа претендует на беспредельность. «Пусть сердце их определяет. Пусть каждый сознает свой долг!» — продолжает Милонов; правда, недовольный современностью, он сразу следом комически предлагает законом все и законсервировать: для него «свободы много». «<...> я сам за свободу; я сам против стеснительных мер... ну, конечно, для народа, для нравственно несовершеннолетних необходимо... Но, согласитесь сами, до чего мы дойдем! Купцы банкротятся, дворяне проживаются... Согласитесь, что наконец необходимо будет ограничить законом расходы каждого, определить норму по сословиям, по классам, по должностям». Но это характерно русский бюрократический, государственнический утопизм, вера в возможность устройства жизни только сверху.

Отсутствие *порядка* в западноевропейском смысле, отличающее русскую жизнь, русскую культуру и в частности литературу, констатировалось еще в «Повести временных лет» и иронически, но убедительно прослежено поэтапно А.К. Толстым в «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Причины его многочисленны. Тут и огромность пространства, и контрасты климата, и трудные условия жизни, и постоянные войны и разорения, и сложные политические перипетии. Среди собственно культурных причин, конечно, немалую роль играют и религиозные. Только И.А. Есаулов обращает внимание исключительно на противоречия между ветвями христианства, а, скажем, Н.А. Бердяев задолго до него справедливо констатировал: «То, что называли у нас двоеверием, т.е. соединение православной

веры с языческой мифологией и народной поэзией, объясняет многие противоречия в русском народе» [Бердяев, 1997, с. 47]. А еще гораздо раньше Брандес писал, что если «овладеет русским какая-нибудь мысль, представление, принцип, намерение, независимо от того, его ли эта мысль, или она заимствована из европейской культуры, — он не остановится до тех пор, пока не дойдет в своих рассуждениях до крайних пределов. Поэтому русские — самые жестокие в мире угнетатели и самые смелые освободители; они ортодоксальны в вере до слепоты, религиозны до самоуничтожения, свободомыслящи до нигилизма, мятежны до убийств и динамитных взрывов. <...> Во всем они доходят до крайностей — в вере и неверии, в любви и ненависти, в порабощении и бунте» [Брандес, 2002, с. 48]. Столь категорическое обобщение — тоже крайность, но не беспочвенная. В частности, русская литература — это литература и смирения и бунта (отчего она и не могла быть последовательно христианской), а ее история так же противоречива и неравномерна, как вся история России (об отсутствии преемственности поколений в ней заговорил еще Чаадаев).

Отсутствие «порядка», однозначных «законов» в литературе и искусстве — не столько недостаток, сколько своеобразие, а в весьма значительной мере и достоинство. Оно наряду с историческими, политическими причинами обусловило тот факт, что русская литература вплоть до 1990-х гг. была «больше, чем литературой», брала на себя функции неразвитых философии, историографии, богословия и других сфер общественного сознания. Древнерусская словесность была гораздо меньше расслоена социально, чем западная и восточная: образ жизни бояр и крестьян был однороден, различия состояли в количестве, а не качестве благ; политических прав не было ни у тех, ни у других; вражеские нашествия одинаково угрожали тем и другим. Писатели во все времена хотели быть или были в большей или меньшей степени «учителями жизни» для всех. Патриотические, а затем и государственнические устремления были в русской литературе очень сильны до последних лет (включая творчество Солженицына). Вместе с тем она чрезвычайно гуманна, исполнена сочувствия к страдающему человеку, никогда не поэтизирует насилие («гений и злодейство» для нее — «две вещи несовместные»), в том числе на войне¹; первые русские святые — без-

¹ Идеал человека у американцев происходит от конкистадоров, завоевателей, мореплавателей и землепроходцев. Русские тоже были землепроходцами, а воевать им приходилось гораздо больше, чем американцам, но идеал их совсем другой. Г. Брандес писал о них: «Восхищаются не смелыми и дерзкими, но теми, кто безропотно умеет терпеть, страдать и умереть. Чтобы понять это качество, стоит прочитать «Записки из мертвого дома», т.е. из Сибири, Достоевского. Тогда вы увидите, что, по народным понятиям, тот, кто терпит прогон сквозь строй и кнут, не прося пощады,

винно и безропотно пострадавшие Борис и Глеб¹. Русский народ и его литература не мстительны к врагам и могут относиться к ним не без симпатии, даже когда они в силе: в произведениях о кавказской войне Лермонтов или Лев Толстой сочувствуют именно «немирным» горцам². В годы второй мировой войны советский поэт М.А. Светлов написал сочувственное стихотворение об убитом под Моздоком итальянце, а эмигрантская поэтесса И.Н. Кнорринг, жившая в Париже, — о молодом немце, который пришел победителем в Париж, но будет убит в России («Уверенный, твердый, железный...»).

Культурная же восприимчивость русских («Нам внятно все — и острый галльский смысл, / И сумрачный германский гений...» — сказано в «Скифах» Блока) беспрецедентна и доходит до мелочей. Поляки,

окружен почтением и уважением, в то время как другие народы уважали бы того, кто стал героем и победителем. <...> и хотя русские храбрый народ, а в войну и необычайно стойкий народ, они также самые миролюбивые и невоинственные в мире» (*Брандес Г. Русские впечатления. С. 50*). Действительно, Некрасов поэтизировал терпение русской женщины даже под унижительной поркой («Вчерашний день, часу в шестом...», часть «Крестьянка» в «Кому на Руси жить хорошо»), а Толстой в «Войне и мире» прославил в традициях древнерусской литературы (о которых писали Д.С. Лихачев и А.М. Панченко) оборонительную, освободительную Отечественную войну, сопровождавшуюся тяжелыми потрясениями и страданиями народа.

¹ Н.А. Бердяев отмечал, что на духовной почве православия не развилось рыцарство, что в мученичестве Бориса и Глеба нет героизма, преобладает идея жертвы. «Подвиг непротивления — русский подвиг. Опрощение и уничтожение — русские черты» (Бердяев Н.А. Русская идея. С. 47). Показательно, что в Александре Невском, канонизированном в XVI в., православная традиция подчеркивает не столько воинское мужество, сколько смиренное благочестие, а Дмитрий Донской, одержавший величайшую в истории Древней Руси победу над «нехристями», был канонизирован только почти в самом конце XX в., когда процесс прославления новых святых стал приобретать массовый характер.

² *Кожин В. «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» Заметки о духовном своеобразии России // Кожин В. Размышления о русской литературе. С. 48–53. Неназванный источник этого положения В.В. Кожина — статья К.Н. Леонтьева «О всемирной любви, по поводу речи Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике» (1880). Леонтьев, однако, считал, что сочувствие русских писателей к врагам, французам или горцам, было лишь «эстетическим» (см.: О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1991 годов. М., 1990. С. 13). Кожин взял пример Леонтьева, а интерпретацию — Достоевского, с которым Леонтьев спорил. Но он не совсем неправ. «Беглец» Лермонтова, «Хаджи Мурат» Толстого, сцены с пленными в «Войне и мире» говорят о не только «эстетическом» сочувствии к врагам.*

тоже славяне, в переводе «Войны и мира» *Леона Толстого* читают про *Анджея Болконьского*, испанцы в своем переводе того же романа — про *Педро Безухова*, но русским известен Санчо Панса, а не Саша Пузо, как было бы при буквальном переводе.

Брандес, констатируя, что «из всех больших народов Европы именно русские чаще всего заимствовали из чужой культуры», отнюдь не считал это недостатком; он одобрил умение русских «приноровиться к чужеземным образцам и также приноровить это чужеземное к самим себе. <...> Сходные способности приписывают немцам, которые умеют понимать чужое и усваивать его посредством перевода или тщательного изучения. Эта способность развита у них в высшей степени. Но она иного рода у немцев, нежели у русских. Высокоодаренный, но тяжелый и медлительный народ Гердера так же тяжело и медленно понимает дух иных народов. Да, немцы постигли Грецию, Кальдерона и Шекспира прежде других народов Европы. Но все равно они не способны проникнуть в сущность чужого народа так, чтобы это произвело действие в их душе. Французы, не понимая греков, приблизились к творениям их духа гораздо больше, чем немцы, которые их понимают. Русские же опередили всех в своей способности вникать в чужой образ мыслей или круг представлений, подражать им, распоряжаться ими как своей духовной собственностью»¹. О неспособности тех или иных народов понимать «народность», т.е. национальное своеобразие, других народов писал еще Пушкин в заметке о народности в литературе: «Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками, — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана, вызывающего на дуэль своего противника. Все это носит, однако ж, печать народности» [Пушкин-критик... 1950]. Сам Пушкин прежде всего в этом смысле оказался народным писателем, в то же время восприимчивым к «народности» других (в «Подражаниях Корану», «Песнях западных славян», «Каменном госте»). Белинский назвал «Евгения Онегина» «энциклопедией русской жизни», конечно, с акцентом на слове «русской», а не «энциклопедия».

Брандес также особо отмечает откровенность, искренность русских, идущую от широты натуры. «Нигде больше иностранный путешественник не услышит, чтобы мужчины и женщины, стоящие на вершине цивилизации, высказывались столь открыто и безоговорочно.

¹ *Брандес Г.* Русские впечатления. С. 48. Сказанное относится и к материальной культуре. Заимствованные картофель, внедрявшийся с трудом, и чай фактически стали русскими национальными едой и напитком, а самовар — русским сувениром.

Они не только открыто выражают свои мысли и взгляды, но и нередко рассказывают важные вещи из своей собственной жизни <...> без страха упасть во мнении другого. <...> За этой искренностью лежит то чувство, которое больше всех других удивляет каждого, кто приехал из Скандинавии, а именно: страх и отвращение перед лицемерием, гордость, проявляющаяся в беспечности и столь непохожая на английскую чопорность, французскую осмотрительность, немецкое чванство, датскую болтливость» [Брандес, 2002, с. 47]. Открытость души русского человека и заставляла его вплоть до XVII в., как считается, не признавать осознанного вымысла в литературе, приравнивать этот вымысел ко лжи. Декабристы и их литературный предшественник Чацкий, как показал Ю.М. Лотман, не считали достойным скрывать свои убеждения [Лотман, 2001, с. 331–384]. Гоголь и Лев Толстой написали авторские исповеди. «Исповедуются» герои Лермонтова, Достоевского, Горького. Пушкинская Татьяна Ларина, «русская душою», первая признается мужчине в любви. Не в силах скрывать от окружающих чувство к Бронскому Анна Каренина. «Исповедальная» традиция продолжается в XX в. у самых разных писателей, таких как М.А. Булгаков (история мастера, рассказанная Ивану Бездомному — незнакомому человеку) и М.А. Шолохов (рассказ Андрея Соколова первому встречному о своей судьбе — судьбе бывшего военнопленного, о чем лучше было умалчивать).

Как пишет Брандес, откровенные русские ожидают подобной откровенности от других: «Я вот такой; скажи мне, каков ты. К чему вся эта сдержанность! Жизнь коротка, времени нам отмерено мало; и чтобы наше общение состоялось, откроемся друг другу» [Брандес, 2002, с. 47]. Не потому ли из всего сказанного в XX в. о диалоге и диалогичности наибольшую известность в мире получило написанное русским филологом и филологом Бахтиным?

Исторические, общественно-политические причины привели к тому, что после Радищева (да во многом и изначально) «развитие политической мысли в России стало неотделимо от художественной формы, в которую она облачалась. У нас были Некрасов и Евтушенко, но не было Джефферсона и Франклина» [Вайль, Генис, 1991, с. 27]. Блок в статье «“Без божества, без вдохновенья” (Цех акмеистов)» (1921) писал: «Россия — молодая страна, и культура ее — синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть “специалистом”. <...> Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры» [Блок, с. 422]. В полемике с «Цехом поэтов» Блок слишком категоричен. Конечно, было в России и не синтетическое (или синкретическое)

искусство, и свободное от «общественности». Но последнее наиболее характерно для Серебряного века, самого «европейского» в истории русской литературы, и для современного (с начала 1990-х гг.) периода, самого «американского» в ней. Важнейший признак русского национального сознания — разграничение и противопоставление быта и бытия. Р.О. Якобсон, лингвист-полиглот, свидетельствовал: «Любопытно, что в русском языке и литературе это слово («быт». — С.К.) и производные от него играют значительную роль, из русского оно докатилось даже до зырянского, а в европейских языках нет соответствующего названия — должно быть, потому, что в европейском массовом сознании устойчивым формам и нормам жизни не противопоставлено ничего такого, чем бы эти стабильные формы исключались» [Якобсон, 1990, с. 77]. Цитируемая статья написана в связи с самоубийством Маяковского, который как раз и не видел ничего похожего на гармонию российского (советского) быта 1920-х гг. и того, что он осознавал как подлинное бытие.

Вместе с тем в русском сознании нередко житейское, частное предстает как бытийно значимое или близкое к нему. По словам П. Вайля и А. Гениса, Радищев «равно ненавидит беззаконие и сахароварение» (впоследствии Гоголь критиковал чаепитие с сахаром). «Наш современник Солоухин с равным усердием призывает спасать иконы и изводить женские брюки. Василий Белов выступает против экологических катастроф и аэробики» [Вайль, Генис, с. 25, 26]. Однако противопоставление быта и бытия более характерно и отнюдь не мелочно. Так, в русской классике, вообще высокой литературе, по отношению к которой критик раннего русского капитализма Д.Н. Мамин-Сибиряк — беллетрист, литератор третьего ряда, практически нет темы денег как таковой, как во многом самоценной темы. Те же авторы отмечают, что в ней — никаких «бухгалтерских перипетий»: у Г. Флобера Эмма Бовари гибнет из-за проблем с деньгами, а Катерина (что значит «чистая») в «Грозе» Островского совсем не думает о них и Борис показан «не бедным, а слабым» [там же, с. 108]; в «Преступлении и наказании» капитал «не делится и не копится, а существует в идеальном представлении», «как средство, но не как цель» [там же, с. 164–165]. Наряду с Флобером можно было бы назвать чуть ли не профессионального финансиста Бальзака, бытописателя английского капитализма Диккенса, не говоря уже о таком типичном американце, как Т. Драйзер. У больших русских писателей тема денег — даже не тема, а только мотив. И пушкинским Барону («Скупой рыцарь») и Германну («Пиковая дама») они нужны для морального самоутверждения, но вовсе не для материального благополучия, то же относится к жадному Гане Иволгину в «Идиоте» Достоевского, а Раскольникову в «Преступлении и наказании» они требуются (точнее, требуется их «идея») для психологического экспе-

римента. Гоголевский Плюшкин — пример нравственного падения, он жаждет не просто до денег, а абсолютно до всего. Чичиковский же идеал жизни достаточно близок к фамусовскому, Павел Иванович отнюдь не предприниматель, как в преддверии рыночных реформ радостно объявил Борис Парамонов [Парамонов, 1991], а жулик, плут (тип для литературы далеко не новый), притом уважающий уголовный кодекс, как его литературный преемник Остап Бендер: под залог мертвых душ он надеялся получить ссуду, которую впоследствии надо было отдавать. Мошенничество с деньгами лежит и в основе сюжета первой пьесы Островского («Свои люди — сочтемся!»), но и там это жульничество, предательство, а не предпринимательство. В рассказе графа Л.Н. Толстого «Поликушка» совестливый мужичок повесился, потеряв деньги барыни, но это уж совсем особый, исключительный случай. М. Горький в «Челкаше» резко противопоставил деньги и свободу, а в «Матери» мотив денег совсем затушевывал: его революционеры борются прежде всего за свое человеческое достоинство.

Гуманизму великой русской литературы сопутствует нравственный максимализм, тоже проявляющийся в большом и малом. «Неприличная» словесность всегда была, но до последнего времени никто не тащил ее на печатные страницы. Всё откровенно неэстетичное, шокирующее опять-таки не попадало на них до Серебряного века и 1920-х гг. Классика была вообще очень скромна в изобразительных средствах. Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» (1834) сравнил произведения нашего первого классика с неяркой, неброской, но для русского человека очаровательной природой России: «Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понять тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух; потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина» [Гоголь... 1952, с. 44]. Более чем сто лет спустя Н.Я. Берковский обобщил: «Русская оригинальность состоит в том, что у нас красоту без обыденности не признают красотой, живой силой <...>» [Берковский, 1975].

Касаясь любых тем, включая самые больные и острые, русская литература обычно передавала эмоциональное впечатление от всего тяжелого и непристойного без их «живописания». У нас не могло быть классика натурализма наподобие Э. Золя. Не было и своих Дюма, Жюль Верна или Конан Дойла. А.Н. Толстому авантюристичность в сюжетах только мешала, лучший его роман «Петр Первый» обошелся без нее. «Хорошо построенный сюжет», как на Западе (чисто литературное

качество), русской литературе обычно не свойствен, немало классических произведений не завершено, а глубокое содержание очень часто выражается в сюжетах, основанных на событиях отнюдь не глобального значения («Слово о полку Игореве», «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Гроза», «Отцы и дети», «Анна Каренина», «Братья Карамазовы», «Вишневый сад»).

Русская литература своевольно обращается с жанрами. В Древней Руси важнейшую роль играли такие свободные формы, как «слово» и «повесть». Едва в XVIII в. установилась классицистическая система жанров, как самый талантливый поэт того времени Державин начал ее разрушать. В первой половине XIX в. появились роман в стихах, роман в повестях, поэма в прозе. В 1868 г. Лев Толстой писал в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”»: «Что такое “Война и мир”? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. <...> История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров <...> отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от “Мертвых душ” Гоголя до “Мертвого дома” Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести» [Толстой... 1995].

Стиль Гоголя, Достоевского, Толстого внешне не изящен и даже коряв, зато вполне соответствует далеко не простому содержанию. При этом есть и откровенно изысканные стилисты: Лермонтов, Тургенев, Чехов, Бунин, Набоков.

Таковы преимущества отсутствия *порядка* в литературе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 47.
2. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. С. 84.
3. Блок А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. Л., 1982. С. 422.
4. Брандес Г. Русские впечатления. М., 2002. С. 44.
5. Вайль П., Генис А. Родная речь. Уроки изящной словесности. М., 1991. С. 27.
6. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
7. См.: Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004. С. 30.

8. См.: *Карнович Е.П.* Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1886 (репринт — М., 1991). С. 247–250, 238.
9. *Кожин В.* Об истоках русской литературы. Творчество Илариона и историческая реальность его времени // *Кожин В.* Размышления о русской литературе. М., 1991. С. 104–125.
10. *Лейдерман Н.Л.* Уроки для души. О преподавании литературы в школе: Статьи. 2-е изд. Екатеринбург, 2006. С. 247 (глава «“Русскоязычная литература” — перекресток культур»).
11. См.: *Лотман Ю.М.* Декабрист в повседневной жизни // *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 2001. С. 331–384.
12. Л.Н. Толстой о литературе. М., 1955. С. 115.
13. Н.В. Гоголь о литературе. М., 1952. С. 44.
14. *Пармонов Б.* Возвращение Чичикова // Независимая газета. 1991. № 106. 10 сентября. С. 8.
15. Пушкин-критик. М., 1950. С. 112–113.
16. *Трубецкой Н.С.* История. Культура. Язык. М., 1995. С. 201.
17. *Якобсон Р.* О поколении, растратившем своих поэтов // Вопросы литературы. 1990. № 11–12. С. 77.